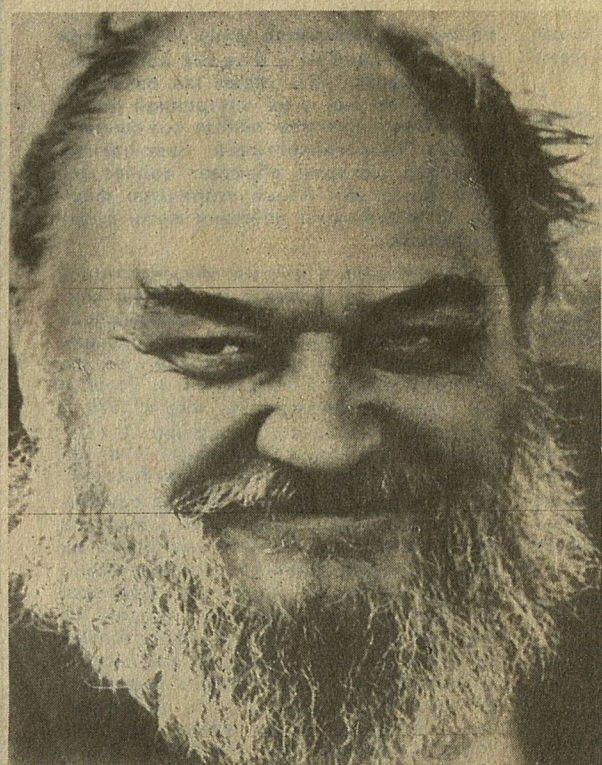




Улыбка чешир- ского кота

Он был для меня опорой. Хотя виделись мы редко. Чаще разговаривали по телефону. Он был для меня последней линией обороны, последним резервом в той неравной борьбе, которую постоянно ведет каждый, старающийся быть художником. Беспощадная и жестокая война с самим собой. И когда после очередной отчаянной схватки все, казалось бы, проиграно и ты уже готов согласиться с собственной бездарностью, сзади возникает он. И негромкий голос объясняет тебе все достоинства твоей, оказывается, абсолютно выигрышной позиции. Но, конечно, кое-что нужно сделать и кой о чем подумать... И ты спасен! Ты идешь на штурм! Ты считаешь трофеи!..

Добрая улыбка чеширского кота светится позади тебя, ты ловишь на себе взгляд с лукавкой и понимаешь, что, конечно, ты молодец и война твоя мучительна, и победа тебя ждет, но это все-таки не самое главное в жизни.

А что главное? Что?

Он молчит, и ты понимаешь, что о главном нельзя вот так, с ходу и запросто. Ответ надо выстрадать. И не только тебе, вопрошающему, но и ему, приближающемуся к твоему смыслу.

Его многие побаивались. Даже самые бессовестные. Даже самые увенчанные.

Ибо его нельзя было вычислить. Это раздражало, держало в напряжении. Молчаливая улыбка, парящая в воздухе, угнетала. Молчание в любой момент могло взорваться, а язык его бывал ох как резок, анализ беспощаден, и голые короли, в отличие от детской сказки, понимали, что они голые и срам прикрыть нечем.

Как и чеширскому коту, ему пытались рубить голову. Его пытались приручить. Его заносили в одни списки и вычеркивали из других. Он исчезал и появлялся неожиданно, и всякий раз последней исчезала его улыбка, чтобы в другом месте возникнуть впереди него.

Теперь его нет. Моя война с самим собой не утихает, а сзади пусто...

Он знал о жизни что-то такое, что давало ему право относиться к окружающему с доброй снисходительностью.

Тайну смысла он унес с собой. Раздаем ли мы ее без него? Вряд ли. Мы — славы. Слово про нас сказано Шекспиром: наши замыслы переживают нас, могуче их рождение, хрупки дни...

Игорь НИКОЛАЕВ

Предлагаем вниманию читателей «ЛГ» фрагменты из неоконченной книги Виктора ДЕМИНА «Хронофотограф».

Вояж с демократом

В 1973 ГОДУ я был включен в делегацию молодежного кинофестиваля в болгарском городе Приморско. Делегация была большая, в нее входили уже прославленные Сергей Соловьев, Родион Нахапетов, Виктор Мережко... Он и сейчас, Виктор Иванович, бесценный ведущий «Кинопанорамы», вполне вальяжен и обаятелен, а тогда был просто чарующ. В Шереметьеве, пока мы знакомились, он успел мне сказать, что не согласен с моей рецензией на «Одиноким один», фильм по его сценарию, но позволяет каждому думать, что ему думается.

Я почел себя прощенным за дерзость.

Время было веселое. Только что сняли Романова, председателем Госкино стал Ермаш. С этим многие связывали надежды. Стали больше посылать за рубеж, болгары принимали — лучше не придумаешь... Короче, этот вояж я запомнил как десять дней нескончаемого внутреннего ликования.

Мережко летел в прекрасном сером костюме с парижским галстуком, в лакированных штблках. По приезде он все это снял, облачился в латаные джинсы, тельняшку и стал искать сандалии. Но Приморско — маленький курортный городок, в единственном магазинчике не было ничего, кроме коньяка «Слыччев Бряг». К тому же нога у Виктора Ивановича была, не знаю, как сейчас, сорок пятого размера. Надо было ехать в Варну, но у нас каждый день просмотры да дискуссии. Так он и гулял по песчаным тропкам и асфальтовым аллеям — босиком. Так же пришел на вечерний прием к болгарскому министру культуры Писареву. Тот, впрочем, сам шеголял по-простому, чуть ли тоже не в джинсах.

Прием был довольно скромный, попоходному, на веранде коттеджа Писарева, только для нашей делегации. Министр выглядел хмурым, держался в стороне, но как потом выяснилось, очень внимательно вникал во все наши разговоры. После его назначения ходила шутка: «Тут не то, что Писарев, тут Чернышевский ничего не поделает» — имелось в виду положение в кино. Но Писарев на некоторое время оживил болгарскую кинематографию, за что, разумеется, был вскорости снят. Я помню, как он восторженно говорил, когда Мережко заговорил в виде гостя об уязвимости художника и о том, что к нему не надо относиться как к потенциальному вредителю...

Моя знакомая журналистка, которую звали Катя Васильева, но при этом она была болгарка, шепнула, кивнув на Виктора Ивановича:

— Как вы к нему относитесь?

— С большим уважением, — отвечал я.

— Мне он тоже нравится. Но почему он босой?

— Не в носках же ходить и не в модельных туфлях по песку.

— И его не стесняют условности? Просто молодец!

— Да, вот такой.

— В каком коттедже его поселили?

Приморско — спортивный городок, и нас, восьмерых мужчин, разместили в двухэтажном полубаре-полубунгало, без внутренних перегородок и без единой двери.

— Ни в каком. Он спит вместе с нами.

— Нет, правда? — у нее глаза полезли на лоб. — На том же положении, что и любой из вас?

— А что тут особенного? — Она подымала Мережко выше Сергея Соловьева, выше Родиона Нахапетова, известного на всех континентах. Я начинал глухо ревновать.

— Нет, — сказала она. — Болгарин этого никогда не поймет. Все-таки это другие традиции...

Теперь каждый вечер, когда мы встречались, она накидывалась на меня с расспросами про Мережко: что он делал, что он сказал, не купил ли сандалии? Виктор Иванович не только мстерски, по-актерски преподносил анекдоты, он еще умел пересказывать самые обычные житейские случаи с такими неожиданными, произвольными подробностями, что они звучали смешнее анекдота. Еще он гениально передавал акценты. Этого последнего умения мне не было дано, однако я, как мог, повторял его шутки и сказания...

— Удивительно! — говорила Катя Васильева. — Такой демократ... нет, у нас это невозможно, мы до этого не доживем.

Тут уж мне оставалось только позвать плечами.

Разгадка пришла в последний день, после общей итоговой дискуссии. Мережко сказал всего несколько слов, но сорвал бешеные аплодисменты...

— Какая голова! Какая ясность мысли! — восхищалась Катя. —

Смешно: художники запутались — а министр зовет их к задачам искусства.

Мы шли по аллее. Я остановился.

— Какой министр?

— Ваш министр — Ермашко.

— Ты хочешь сказать — Мережко?

— Ермашко, Мережко — какая разница? Ведь он министр?

Только тут, с большим опозданием, меня осенило. Она приняла Мережко за нашего нового председателя Госкино. Она удивлялась тому, что министр разгуливает в тельняшке, босой, не в силах достать сандалии сорок пятого размера, что он не хочет вместе с семьей гавриками в общежитии и в каждом выступлении берет под защиту художников от бюрократов... Но больше всего, наверное, она удивлялась тому, что мы, советская делегация, не находим в этом ничего особенного.

Служить его направили в Госкино, в Малый Гнездиновский. Еще несколько лет он писал статьи и рецензии, не столько оригинальные, сколько солидные, толковые. Приходя за гранками к нам, в издательство «Искусство», он снова, грянув стариной, веселил анекдотами из чиновничьей жизни. Некоторые были дивно хороши.

Представьте себе, приходит со студии картина. Хорошая картина. Даже талантливая. Одна закладка — про войну. Начальники таких картин терпеть не могут. Посмотрели. Надо обсуждать. Вызывают для затравки кого-нибудь из нашего брата, редакторов. Что делать? Врать не хочется — картина-то хорошая. Хвалишь артистов, отмечаешь оператора, превозносишь монтаж... А потом вдруг маленькая пауза и — в интонации надрывного вопроса: «Но так ли, товарищи,

контакта. Японскому режиссеру предложили поставить фильм в нашей стране, на любую тему и на любых условиях. К полному изумлению остального мира, он согласился. Долго взвешивал замыслы и наконец решил экранизировать очерковую книгу о Дерсу Узала, нанайском охотнике.

Дело было сделано. У нас фильм провалился с треском, но прилично продавался за рубеж и даже получил «Оскара» в США. Несмотря на преклонные годы, классик вернулся к творчеству. О жизни в России он высказывался редко и коротко, но с неизменной вежливостью — этого у него не отнимешь.

Можно догадаться, что многое у нас показалось ему дикостью. Но он старался, как мог, чтобы посылить соответствовать.

Фотограф Гнисюк, побывавший на месте съемок в тайге, попал туда как раз на ленинский субботник. Этот субботник давно уже выродился в пошлое недоразумение, о нем рассказывали анекдоты — что, дескать, в Кремль завезли бревно, для членов политбюро... Вспоминали, что количество тех, кто вместе с Лениным нес когда-то бревно, перевалило за двадцать тысяч... Куросава-сан отнесся к дате очень серьезно. С утра была выстроена съемочная группа, и режиссер обратился к ней с короткой речью — разумеется, через переводчика. Он сказал, что в этот день много лет назад основатель советского государства показал личный пример безвозмездной работы на общее благо. Он, Куросава, не хочет никого заставлять, но призывает своих сотрудников сегодня, в общий день отдыха, основательно потрудиться на своих рабочих местах, а сумма заработной платы будет переведена на официальный государственный счет. Естественно, никто не отказался. Полноценную группу составляли японцы — работали и они.

Когда Куросава сдавал свой фильм московскому начальству, как раз произошло ЧП с «Зеркалом». Фильм восприняли как вызов и бунт, как протест против общепринятого и призыв к заумному самовыражению. Ничего там такого нет, хотя, чтобы выломиться из официальных рамок, надо было, конечно, иметь немалую смелость.

Впрочем, я считаю и до сих пор, что в ленте были кокетливые пассы самому себе, что исповедоваться на птичьем языке для избранных — довольно неожиданная затея и что в драматургии вещи, что всегда удавалось Тарковскому хуже всего, было много пижонского почесывания левой рукой за правым ухом. Что, впрочем, не мешало экранной речи звучать виртуозно и местами пронзительно.

Говорю это не без опаски: сегодня, когда художник причислен к лику, вокруг него широко идет безудержное, оголтелое кликушество.

Любопытно, кстати говоря, что профессионалы восхищались «Зеркалом» с оговорками. Зато околкинематографические люди, всезнайки из мажорных сынков, плечистые амбалы из кино клубов, длинноносые температурные журналисты, подняли волну выше некуда. Дашь бессвязность! Чем непонятнее, тем гениальнее! Тупая растерянность начальников только добавила керсину в огонь. Теперь уже, нравится не нравится, все были готовы на баррикады.

Новый министр, Филипп Ермаш, придумал заманчивый ход. Он пригласил цвет-режиссуры на просмотр и устроил обсуждение под стенограмму. Если было бы восторженное ликование по поводу праздника в нашем кино, — уже аргумент на стол кураторам. А если, на что он надеялся, прозвучали бы сомнения и упреки, вовсе было бы хорошо козырнуть, что не все художники заражены ячеством и эстетизмом.

Но вышло ни то, ни другое. Каждый стал петь в свою дуду. В общем, хвалили, но, глядя из своей грядки, сыпали разными замечаниями, по делу и невпопад. Не разобравшись в этом ералаше, начальство только пожало плечами. Оставалось ждать у моря погоды.

Кто-то посреди суматохи вспомнил о Куросаве. Ему показали фильм и спросили о впечатлении.

Невозмутимый японец мало подходил к роли записного энтузиаста. Но что-то, должно быть, до него дошло из общей атмосферы Гнездиновского, что-то такое он почувствовал. И ответил загадкой.

Сначала восторженно:

— Оцен-но хоросо!

Потом еще восторженнее:

— Оцен-но непоня-ятно!

Из этого зазвев сарказма политический бульон?

От него отступились — в полном замешательстве.



Виктор ДЕМИН

ХРОНОФОТОГРАФ — так должно было называться искусство экрана, сегодняшнее кино. Именно это слово использовано в патентной заявке Луи Люмьера. Позже он предпочел назвать свое изобретение **КИНЕМАТОГРАФ**. Легко понять почему. **«ИЗОБРАЖЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ»** — это звучит обобщенно, охватывая, с одной стороны, игровое кино, с другой — мультипликацию, как оживший рисунок или одушевленную куклу. **«СФОТОГРАФИРОВАННОЕ ВРЕМЯ»**, строго говоря, предполагает изображение живой жизни, не сочиненной, не разыгранной. Хроника, документальный фильм — вот **ХРОНОФОТОГРАФ** в чистом виде.

И еще — наша память.

В этот вечер перед сном у меня было, чем ответить на мерехинские нескончаемые истории. Мы — и я прежде всего — хохотали от всей души.

Утром Виктор Иванович настит меня у рукоумойника.

— Да, история занятная, — сказал он. — И рассказываете вы интересно. Скажу откровенно, не ожидал. И все же поклоняетесь, что никому больше не будете ее рассказывать. Иначе обязательно дойдет до... до Ермашко. А он человек обидчивый. Зачем дразнить козлов?

Я пообещал и — молчал целых двадцать лет.

Даже военные секреты устаревают за это время.

Уроки софистики

ИГОРЬ Раздорский шел в институте курсом старше меня. В военных лагерях мы оказались вместе. Под подушкой у него лежала книга Платона. На утреннем построении он пересказывал нам, что вычитал вчера.

— Случайного убийцу мы склонны пскалеть, не то что записного душегуба. Но если суждено умереть под ножом, кто же захочет, чтобы его терзал дилетант? Профессионал предпочтительнее, разве не так? Логично?

— Софистика какая-то, — сказал я.

— Да, это как из раздела софизмов.

Был он женат и часто изображал, как его дичка на детском желосипеде перебирает ножками. Длинные, остроконечные, худой, он светился в эти минуты, будто исходил нежностью. Вообще же он был беззлобен, но, случалось, подтрунивал над нами, и довольно едко. Особенно доставалось украинскому парубку с режиссерского, романтику и поэту.

Как-то нас отправили очищать новенькие карабины от масла. Мы испачкались с гоюзой. Парубка с нами не оказалось. Игорь убеждал всех, что работа как раз для нас, а Мыкола отправился любоваться на восход, ему оно нужнее, у него в сердце сейчас поют скрипки и рифмы навертываются сами собой... Монолог был нескончаемым. Что бы ни отвлелось, через минуту он начинал о том же. Мы хохотали все громче и громче. В каждой роте свой Теркин — у нас он был платоником с широким кругозором.

надо на таком-то году мирной жизни привлекать внимание зрителя к этим... к негативным сторонам войны?!

И сам же хохотал громче всех:

— Как будто у войны есть позитивные стороны!

Сегодня кажется нелепостью, но в те годы каждый фильм, хоть из Средней Азии, хоть с Сахалина, утверждался в Гнездиновском. И вот привезла какая-то провинциальная студия документальную бодягу про местную левизну. Шесть частей! Как она поет, как репетирует, как дочку водит в детский сад, с мужем, с родителями, чуть ли не с любовником. Игорь посмотрел и распорядился: «Сократите до двадцати минут». Сценарист косится волком, режиссер пьет валерьянку, только директор работает на контакт: «Посмотрим, посмотрим, все, что можно будет, сделаем». Посидели в монтажной на «Мосфильме», двадцать не двадцать, а до тридцати минут довели. Приносят для нового просмотра. Директор и тут берет на душевность:

— Честно говоря, позачалу ничего у нас не получалось, а потом постепенно втянулись и стали даже удовольствие получать.

Игорь, если не врет, сказал им строгим голосом:

— А вот это лишнее. Испытывать удовольствие — такого никто от вас не требовал.

Из-за моих статей вышло два скандала — сначала по поводу Храбровицкого, а потом — из-за «Семинадцати мгновений весны». Тогда, мне передавали, Раздорский сказал с казкой казенной трибуны, что Демин, мол, — Алла Пугачева от критики.

Сравнение было загадочным, и обидеться я не успел.

А шутки его вспоминаю часто.

«А так ли уж надо...» Сколько демагогов мусолило эту фразу, но не каждый способен был усмехнуться на самого себя.

И про «удовольствие», которого «никто не требовал». Это так неожиданно, но точно.

Восточная мудрость

НЕУДАЧНОЕ самоубийство Куросавы прошумело по всему миру. Кто-то из Госкино очень точно рассчитал, что момент благоприятен для зазывания творческого